

ИЗ КНИГИ «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (2002 г.)

Письмо Кузьминой-Караваевой Блоку

Любимый, любимый, Вы мой,
тоски и случайности крепче.
В разлуке, в печали немой —
всегда со мной чудо той встречи.

Когда я в спасеньи от зла,
от осени, мрака, обмана
отчаянно к Вам ворвалась
из уличного тумана.

Негромкие Ваши слова,
до полночи свет незажжённый...
И было душе горевать
так радостно и обнажённо.

Я стала в тот вечер сильней,
почувствовав зябнущей кожей,
что Вам тяжелее, чем мне,
бессмысленнее и горше.

Не муж, не жених и не друг...
Но жизнь по спирали вращалась.
Кончался обыденный круг —
и снова я в Вам возвращалась.

Порою любовью к другим
из сердца пыталась Вас выместь,
но всё исчезало, как дым,
поскольку воистину Вы есть.

В плену суеты и молвы
мне мнится всё чаще и слаще, —
на целой земле только Вы —
единственный и настоящий.

Я нежность к Вам в сердце ношу —
к Архангелу, Богу, Поэту.
Я Вам без надежды пишу —
ну, как на другую планету.

Сейчас в Наугейме цветы
зажглись на каштанах, как свечи.
Со мною лишь сны и мечты
о нашей единственной встрече.

Здесь лебеди средь островов
и замков задумчивых шпили.
Я шлю Вам привет от всего,
что здесь Вы когда-то любили.

Но хочется слов Ваших, глаз,
хоть ранит их царственный холод.
Я изголодалась по Вас,
так пусто без Вас мне и голо.

О счастье любви без куска,
который даруют, отмеря,
когда непреложна тоска,
когда невозможна потеря!

Я сердце в конверте Вам шлю:
возьмите займы мою душу.
О, не для себя я люблю.
Я знаю, что Вам это нужно.

А не захотите понять, —
не встретив ответные руки,
смогу пустоту лишь обнять, —
знать мало отмерено муки,

и многие круги пройти
ещё предстоит мне до смерти
на этом тернистом пути,
в его грозовой круговерти.

Предчувствуя смерч огневой,
я пальцы ломаю до хруста.
По руслу стези роковой
дойду я до Вашего русла.

Пусть ясно сейчас мне одной,
что путь этот тяжек, но светел...
Господь Вас храни, мой родной.

Он ей ничего не ответил.

Забывтым поэтам

Обречённые на забвение,
обручённые с мукой сладкой...
Неподвластные духу тления,
реют чудные их мгновения
на ветру неземных галактик.

Пред божественной их нирваною
по-школярски немеют вузы.
Страны, спрятанные и странные...
Пятна белые? Раны рваные
на живом ещё теле Музы!

Я снимаю бинты кровавые,
обнажаю рубцы и шрамы.
Я из Леты слова вылавливаю,
чтоб воздать долгожданной славою
всем героям великой драмы.

Черубина

Лицом бледна, нехороша.
Лилит. Испанская инфанта.
В мечтах и снах её душа,
в слезах погибшего таланта.

Был скромн быт её дневной,
но в этой хромоножке школьной
жил дар нескромный, неземной,
толкнувший на обман прикольный.

Не знал продвинутый журнал,
что титул, с гордостью носимый,
лишь имя чёрта означал,
кусок морёной древесины.

Частица чёрта в ней была,
когда, как папоротник ночью,
в свой час единственный цвела
так обморочно и порочно...

Молва одёрнула: «Очнись!» —
и этим окликом убила,
с высокой башни сбросив вниз...
О Черубина! Черубина!..

Вот так и я, сквозь снов туман,
в погоне за нездешним раем,
высокий пестуя обман,
бреду сомнамбулой по краю.

Не окликай своей судьбы.
От правды — никакого толка.
Итог — расквашенные лбы.
И только!

Лермонтов

Потомок старинного рода,
не Байрон, о нет, ты иной,
ты — произведение природы,
как ливень в полуденный зной,

как синие горы Кавказа,
желтеющей нивы волна,
как молнии огненноглазой
стремительные письма.

Пылающий протуберанец
с развёрстой, как рана, душой,
на этой земле — чужестранец,
загробному раю — чужой.

Ценою томительной муки,
всему, что вокруг, вопреки,
обрёл ты волшебные звуки,
мятежное пламя строки.

Единственно и отрешённо
в твоём одиноком пиру.
Там воздух небес разрежённый...
Но гибель красна на миру.

И хочется острову тайно —
волнам набегаящим в плен,
склонить свои гордые пальмы
у чьих-то родимых колен,

и парус тоскует, как нищий,
по встреченной в море ладье.
Как жадно созвучья он ищет
в пустынном своём бытие!

И — отзвуки, отклики, клики
на всю поднебесную высь:
спасайся, мой мальчик великий!
Пока ещё можно спастись!..

Уехать в Тарханы, в Тарханы,
где тихо в саду поутру,
где стелятся в поле туманы,
и листья шумят на ветру,

где муза ночами порхает,
и нету всевидящих глаз.

В Тарханах тревога стихает.
Ну что тебе этот Кавказ?!

Два белых крылатых оленя
из царства бессмертного льда
туманною лунной аллеей
умчали тебя в никуда.

Но след твой остался на свете,
как снежных вершин торжество.
И плачут утёсы столетий,
лелея в морщинах его.

Франсуа Вийон

Кривился королевский двор:
оборван, несуразен, страшен.
Поэт — бандит, мошенник, вор...
Как близок он эпохе нашей!

Как был бы он сейчас подстать
её борделям и притонам.
Хоть вряд ли будут там читать
молитву Франсуа Вийона...

Среди чумных пиров и тризн -
нет лучше дружеской пирушки,
а жизнь — игра, где ставка — жизнь,
не стоящая ни полушки.

Не об идиллии мечтал —
о сытой жизни средь достатка.
И соловью предпочитал
зажаренную куропатку.

От жажды не спасал ручей,
а в голод, как ни резонёрствуй, —
не погнушаешься ничем —
ни шулерством, ни сутенёрством.

Утешась с толстою Марго,
блеснул сатирой на прощанье.
Как он мочил своих врагов
в том знаменитом «Завещанье»!

Дарил подштанники — одним,
другому — тумаки и розги,
всем, всем, кем в жизни был гоним,
сполна он по заслугам роздал!

За оскорблений кипяток,
за униженья — будут знать их!
О месть голодных животов
придворной челяди и знати!

Его притягивало дно.
Подонки общества — не сливки,
но брали всё, что не дано,
тем, что не робки и не хлипки.

И, душу грешную презрев,
он шёл за суетным и бранным.
Манил его богатства блеф,
как сладкогласая сирена.

И вот — тюрьма в Мён-сюр-Луар.
Он — жалкий узник подземелья,
и в страхе ждёт небесных кар.
Какое горькое похмелье!

Клянёт судьбу, звезду Сатурн...
Не плачь, школяр, смирись с судьбою.
За всё, что выстрадано тут,
оправдан будешь там Судьёю.

Там ты напьёшься у ручья,
наешься каплунов и уток.
Там ждёт тебя Катрин твоя,
придворный мир внимает, чуток...

Орфей, разбойник-соловей,
никто для Господа не лишний.
Молитву матери твоей
услышал всё-таки Всевышний.

Забавник, клоун, шалопай,
на всё готов за грошик медный,
но — как он там ни поступай —
вошёл в историю, в легенду.

Он всех просил его простить.
И, поминая время оно,
прошу вас строго не судить
беднягу доброго Вийона.

Я за помин его души
неспешно и благоговейно
сегодня пригублю в тиши
плоток французского глинтвейна.

Когда обидам несть числа,
когда тоскливо и бессонно —
пусть очищает нас от зла
молитва Франсуа Вийона.

Артюр Рембо

Родился в захолустном Шарлевиле.
Был в преисподней. Выходил в астрал.
Его боготворили и хулили.
Артюр Рембо. Бунтарь. Оригинал.

Как ненавидел он свою обитель,
лелея в мыслях ярое «долой!»
«Он будет гений, — прорицал учитель, —
да вот не знаю, добрый или злой».

В молитвах и трудах не видя прока,
поэзии грядущая звезда
предался вакханалии порока,
невинность тела рано обуздав.

Долой гнильё, рутину, дряхлость плоти!
Эпоха сдохла. Затхлый мир смердит.
Корабль взмыл в дрейфующем полёте.
Он обречён. Он должен победить!

Свою погибель возлюбив, как Бога,
презрев огни прибрежных маяков,
летел в знамёнах гнева и восторга,
куда хотел, теченьями влеком.

Неандерталец с голубиным взглядом,
в котором отражались небеса.
О, лишь у тех, кто видел пламя ада,
бывают так невинны голоса!

Как рассказать историю паденья
и забытья, алхимию словес,
ночные фантастические бденья,
трагедию несбывшихся чудес?..

А тот, любимый без стыда и меры, —
презренный трус, убийца и холуй.
Прощайте, наважденья и химеры!
Будь проклят этот адский поцелуй!

Сполна оплачен Люциферов вексель.
Проиграно жестокое пари.

В глухой пустыне, в эфиопском пекле
ты к каторге себя приговорил.

Неприручённым и непримирённым
ушёл, ни мир, ни Бога не простив.
Где был корабль — плывут по морю брёвна...
О, как же сам себе ты отомстил!

Владимир Соколов

Какое блаженство читать Соколова!
Мне кажется, я поняла, как никто,
что слово бывает светло и лилово,
что в юности дождиком пахнет пальто.

То в жар погружаясь, то в холод знобящий,
смакую божественных строчек нектар
о том, что пластинка должна быть хрипящей,
что школ никаких — только совесть и дар...

Всё лучшее в мире даётся нам даром,
и мы принимаем бездумно, шутя,
и утро с его золотистым пожаром,
и листья, что, словно утраты, летят.

В волнении пальцы ломая до хруста,
я буду читать до утра, обомлев.
Забуду ль когда твоих девочек русских
и в ботиках снежных твоих королев?

И снова, как в детстве, обману поверю,
ещё ожидая чего-то в судьбе.
Ты Моцарт, маэстро, а я твой Сальери,
который отравлен любовью к тебе!

В сиренях твоих и акациях мокну,
с отчаяньем слушаю плач соловьёв,
и жизни чужие, как бабочки в окна,
стучатся и ломаются в сердце моё.

Тебе не пристало величье мессии,
ты просто поэт, и не скажешь полней.
Я знаю, что всё у тебя — о России,
но каждая строчка твоя — обо мне.

И это родство всё горчее и глубже,
как звук разорвавшейся в сердце струны.
Мне дорого, как ты застенчиво любишь,
и в этой любви мы с тобою равны.

Опять приниматься бумагу маракать,
с ночной звездой говорить до зари...
Когда заблужусь, потеряюсь во мраке —
я строки беру твои в поводыри.

Какое блаженство читать Соколова!
Как с ним вечера и рассветы тихи.
Как сладостна власть оголённого слова...
Неужто же всё это — только стихи?!

Времена не выбирают.
А.Кушнер

Это время — не моё.
Я в него не попадаю.
Как уверено ворьё, —
не живу, а пропадаю.

По обочине хожу,
а не столбовой дороге.
Наслажденье нахожу
в том, что кажется убогим.

Это время — не моё.
Я его не выбираю.
Полагаюсь на чутьё
в поисках другого рая.

С безгрошовой душой,
торбой писаной носимой —
стала девочкой чужой
я в семье своей России.

Век мой, зверь мой, волкодав,
твои руки пахнут кровью!
Запахнув тебя в рукав,
выбираю — безвековье.

Это время — не моё.
Я его в упор не вижу.
Как блаженно забытьё,
где далёкое всё ближе.

Я вне времени живу:
в декабре грущу о лете,
назначаю randevu
мертвецам других столетий.

Мои сумерки тихи,
и дневные раны лечат
старомодные стихи,
пастернаковские свечи.

Не поймёт меня никто
среди новорусских хомо.
Как чарует глаз цветок —
разве объяснить слепому?

Упаду в траву ничком...
Как я сказочно богата!
Я — сородич родничков,
современница закатов.

Ваше время — не моё.
С ним я в ногу не шагаю.
В облаках моё жильё
с Блоком, Моцартом, Шагалом.

Лучше выглядеть смешным
и казаться чужеродным
среди цахесов сплошных,
среди босховских уродов.

Я никуда не вступаю.
Я ничего не член.
Грань не переступаю
ту, за которой плен,

ту, где чего угодно,
ту, где не встать с колен.
Я — ничья, я свободна.
Я ничего не член.

Падаю, оступаюсь
и ошибаюсь — что ж,
но ни во что не вступаю,
чтобы не мыть подошв.

Чур меня знак весомый
лацканов напоказ,
стойла борзых тусовок,
где не ступал Пегас.

Убережась от фальши,
спрыгну с дороги я.
Вы же ползите дальше,
членистоногие.

Музыка

И музыка, музыка, музыка
врывается в сердце моё...
В.Ходасевич

Есть одна хорошая песня у соловушки...
С.Есенин

Им после ужина —
водочки, курочки —
нужно отдушины:
пения, музычки.
« Лучшему другу, —
ну же, маэстро,
корешу с юга,
баксы — оркестру.
Сдачи не надо,
это за вредность.
Что-нибудь наше,
чисто конкретно...»
Кто платит —
тот музыку и заказывает.
Кто плачет —
слёз своих не показывает.
Вместо музыки лада —
той, что сегодня,
слышу музыку ада
из преисподней.
Нет, не величальную
Толику и Ленчику —
песню поминальную
мёртвому младенчику.
Песня колыбельная,
тихая припевочка,
детям неродившимся,
мальчику и девочке.
Баю-бай, баю-бай,
поскорее забывай...

Мир, пробуравленный
музыки зондом.
В горле — затравленный
крик канте-хондо.
Не флейта, не лютня
и не гармония.
Дикая, лютая
песня-агония.
Пой, в дурмане плавящем

душу выворачивай!
Жизнь размажь по клавишам,
всё сполна заплачено.
То, что бессонно
слышишь полночи ты —
марш Мендельсона
для одиночества.
Нежная, плавная
тема адажио...
Самое главное...
Нет его... Дажь его...

Утонув в словоблудии,
неосуществлении,
жизнь осталась прелюдией,
музыкальным вступлением.
Что замуровано
в музыке той?!
Марш похоронный
жизни пустой.

Саратову

Столица самозванная Поволжья,
родная грибоедовская глушь,
погрязшая в осеннем бездорожье
среди неизбывных миргородских луж,

где вотчина бессмертных хлестаковых,
где громоздится памятников дичь, —
ну что в тебе, замызганном, такого,
чтоб не стремиться никуда oprичь?

Всё лето без воды. Но рядом Волга.
Зимой без света. Но была б свеча.
Нелепого непрошенного долга
слепа тяга в сердце горяча.

Подруга пишет: «Нет прекрасней края.
Давайте к нам! Сжигайте корабли!»
Но не влечёт меня обитель рая
уютно ностальгировать вдали.

Там всё стерильно: ни врага, ни друга.
Там море мёртво и душа мертва.
А здесь двory с родимую разрухой
и круговой порукою родства.

И пусть ни злато, ни ума палата
не озарит помоечного дна,
но здесь душа с рождения крылата
и босоногой радостью полна.

Я часть твоих окраин и колдобин,
твоих оркестров уличных струна.
Ты мною утрамбован и удобрен.
Я в воздухе твоём растворена.

Стыжусь тебя порой, как сын стыдится
алкоголичку-мать, бомжа-отца.
Но не стираю горькие страницы,
они во мне пребудут до конца.

И заморозки здесь, и отморозки,
за выживание вечные бои,
но светятся застенчиво берёзки
и за руки цепляются мои.

Я это постигла не сразу,
но выучилась, как азам,
не разуму верить, не фразам,
а только глазам и слезам.

Откройся их чистым истокам,
как будто на слово «сезам».
Москва, ты черства и жестока.
В Саратове верят слезам.

Обиды — на обед,
на ужин — униженья.
Коловращенье бед
до головокруженья.

Но помни, коль ослаб,
про мудрое решенье:
про лягушачьих лап
слепое мельтешенье.

Вселенной молоко
мучительно взбивая,
спасёт тебя легко,
вздымая высоко,
душа твоя живая.

Она

Собачники приехали во вторник.
В душе доньне горечь и упрёк.
Спешили люди, убирался дворник.
Никто не защитил, не уберёт.

Под солнышком тогда они сомлели,
доверчиво раскинувшись во сне.
Была как раз Пасхальная неделя.
Природа оживала по весне.

Их детвора звала Малыш и Рыжик.
Подстилка ещё тёплая была,
когда палач, благой заботой движим,
сгребал в мешок убитые тела.

Но хуже всех была одна старуха,
что набрала тот номер роковой.
Она шаги печатала упруго
и с поднятой ходила головой,

гордясь собою, выполненным долгом:
двор наконец очищен от щенков.
А мисочки ещё стояли долго,
нетронутым налиты молоком.

Я видела потом, как спозаранку
она спешила в церковь с куличом.
Уверенно плыла, держа осанку,
как будто в этой смерти не при чём.

По крови той невидимой ступая,
вступая в новый день и в новый век,
бесчувственная, злобная, тупая,
не понимая, что не человек.

Перекличка с Бабелем

Осень в душе и очки на носу —
я уж давно их по жизни несу.
Что ещё к этому могут добавить
морось и темень в девятом часу?

Всё-таки лета ушедшего жаль.
Мёртвые листья уносятся вдаль.
Катятся годы и хмурятся своды,
и умножают печаль на печаль.

Прощание с веком, прощание с веком,
навек, навзрыд, как с родным человеком.
Замедли, — прошу, хоть мой оклик нелеп, —
последний свой росчерк на книге судеб!

Уходят, уходят последние сроки
земли, на которой мы так одиноки.
Как выжил он в этой кромешной глуши —
дрожащий подснежник замёрзшей души?

И стрелки часов, приближаясь крещендо,
готовят нам встречу с неведомым чем-то.
Отчалила плавно Харона ладья...
Прощай, невозвратная радость моя.

О Ты, чьей свечой мы всегда осиянны,
затеpli надежду, как шарик стеклянный,
и пусть принесёт новогодняя ель
то чудо, какого не знали досель.

Прощание с веком, прощание с веком...
Следы замечает полуночным снегом.
Летит, обрываясь звездой на лету,
письмо в неизвестность, письмо в пустоту.
Декабрь 2000

Привыкать к стезе земной,
пробую, смирясь.
То, что грезилось весной —
обернулось в грязь.

На душе — следы подошв,
слякотная злость.
И оплакивает дождь
всё, что не сбылось.

Тот застенчивый мотив
всё во мне звучит,
что умолк, не догрустив,
в голубой ночи.

Что хотел он от меня,
от очей и уст,
как в былые времена
от Марины — куст?

Неужели это миф,
сон сомкнутых вежд —

тот подлунный подлый мир
в лоскутах надежд?

В предрассветном молоке
жизнь прополощу
и проглянет вдалеке
то, чего ищу.

Не свысока, а с высоты,
не ведав притяженья гнёта,
люблю на Вы, а не на ты,
люблю Вас с птичьего полёта.

На этом свете, как на том,
иду не с Вами, а за Вами.
И осеняю, как крестом,
Вас белокрылыми словами.

В любую минуту — тихую, шумную —
о Вас я думаю.
Я Вас не достану рукой — звезду мою.
О Вас я думаю.

Когда ж со звезды долетит ко мне свет,
(возможно, через миллионы лет),
и Вы обо мне захотите подумать,
то знайте, Вы думаете — в ответ.

Люблю Вас без слов и красивых фраз.
Люблю без себя и даже без Вас.
Люблю вот за эту мечту, маяту мою:
за то, что каждый вой божий час
о Вас я думаю.

Это были не мы, это были не мы...
Столкновение случайное, сшибка.
Роковая ошибка безумной зимы.
Ты — моя роковая ошибка.

Наша встреча таила предвестье конца,
и об лёд сердце рыбою билось.
Ты ушёл — как улыбка скатилась с лица.
Словно солнце навек закатилось.

Чужая нелюбовь

романс

Источник наших мук бездонен, как колодец,
и в глубине души хранит его любой.
Но хуже всех, когда, как в карточной колоде,
нам выпадет в судьбе чужая нелюбовь.

Её глаза глядят безбожно и облыжно.
Ты душу ей свою, как урну, приготовь.
Напрасны все слова. Она тебя не слышит —
чужая нелюбовь, чужая нелюбовь.

Она тебя сожжёт, она тебя погубит,
отравой напоит, наполнив ядом кровь.
Но счастлив будешь ты, когда тебя полюбит
чужая нелюбовь, чужая нелюбовь.

Прощайте навсегда

романс

Ни слова, ни руки я не приемлю милость.
Смирью, как и встарь, волнение в крови.
Безропотно несу нежнейшую повинность
прощаний и разлук, прощенья и любви.

Несу свой лёгкий крест, земной и невесомый.
Мужчина — это жест, а женщина — лишь вздох.
Пусть молчаливого он не услышит зова, —
мне важно, чтоб меня услышал только Бог.

Молением небесам страданья не нарушу.
Мне освещает ночь любви моей звезда.
Целую голос Ваш. Целую Вашу душу.
Прощайте навсегда. Прощайте навсегда.

Комната

Комната. Скрипящая доска.
Четырёхугольная тоска.
А.Кушнер

Не выходи из комнаты, не совершай ошибки.
И.Бродский
Прочь от калитки моей, Родина.
И.Кабыш

Моё логово-угол, где стены хранят от ушибов,
моя камера пыток, что пуще неволи мила.
Я не выйду из комнаты, не совершу я ошибок.
Мне она никогда не была ни скучна, ни мала.

Мой источник пиров средь чумы, мой очаг сновидений,
моя комната-трюм, где заброшена дел дребедень,
где, скрипя половицами, бродят любимые тени,
где по чувствам, а не по делам судишь прожитый день.

Здесь в окошко, как в лупу, всё видишь яснее и проще.
Мир пушистым комочком свернулся у ног без затей.
Я не выйду из круга любви на продутую площадь,
из сердечного света — на холод планеты людей.

Как сберечь отчий дом в этой немилосердной отчизне,
где неистовый смерч наши гнёзда готов разорить?
В этом мире из комнаты выйти — что выйти из жизни.
Дверь открыть или окна — что жилы себе отворить.

Всё дальше, слабее их отзвук и свет, —
родные, любимые, давние лица.
А сны всё не знают, что их уже нет,
лишь сны не хотят и не могут смириться.

И там, продираясь сквозь толщу и тьму,
лелею тот миг окончания бегства,
когда догоню, припаду, обниму,
«Ну вот наконец-то, — скажу, — наконец-то!»

На кладбище

брату

И снова на родной земле я,
где убираю и поля,
где плачу, думаю, жалею
и так мучительно люблю.

Здесь тайна в воздухе витает
и тихо, как перед концом.
И фотокарточка цветная
с твоим смеющимся лицом.

По телефону с кем-то шутишь,
своей не ведая судьбы...
Ты никогда уже не будешь.
Осталось лишь, каким ты был.

Я Богу не даю обетов,
на землю небо променяв,
но чувствую, что есть ты где-то,
что ты всё знаешь про меня.

Спешу опять по той аллее,
мимо могилы Цымбалюк,
чтобы сказать, как я жалею
тебя, как я тебя люблю.

Перепутались чёрные даты,
знаки звёздных загадочных числ,
и у слов, безмятежных когда-то,
так зловеще меняется смысл.

Словно дьявол какой надоумит,
только в «кровь» обращается «кров»,
в слове «замер» мне слышится «умер»,
а «сугроб» прочитаю как «гроб».

Кто ты есть, — отпусти, не юродствуй,
чтоб судьбой, как словами, играть?!
Но меняет «родство» на «сиротство»,
«свежесть утра» на «свежесть утрат».

Горе нарастает постепенно,
медленно растущей волной.
Сгоряча не слышишь перемены,
что вошла и дышит за спиной.

После — как укол — воспоминанье...
Оттолкнёшь — и новый, дик и рьян.
А потом — сплошной волной страданье.
И уже не чуешь острия.

Отцу

Где ты? Где воды Стиксовы
твой охраняют покой?
Там, где тебя настигну я
и припаду щекой?

Или вот это жалящее,
запёкшееся в груди —
и есть твоё обиталище
последнее на пути?

Твоё запасное вместилище,
твой выход на этот свет?
Но знаю душою стынущей,
что утешения нет.

В недоступное измерение
ты ушёл, от земли отчалив,
и каким-то глубинным зрением
я гляжу на тебя, отчаясь.

В царстве сна, в государстве памяти
наши встречи с тобою грустны.
Давит на сердце тяжесть каменная,
мне не выбраться из-под груза.

Фотокарточка на надгробии.
Взгляд невыспавшийся, усталый...
Отраженье твоё, подобие
на земле без тебя осталось.

Вся я родом из нашего общего прошлого,
из тебя выросшая, тобою проросшая.
Но глядят на меня небеса пустога
и ни внять, ни унять одинокого гласа.

То, что было отброшено, запорошено —
то теперь всего ближе, всего дороже мне.
Как же жить мне с этой зияющей брешью,
не обнявшей, не выплакавшей, не обретшей?

Уж зима, как твои, мои волосы выбелила,
а не сгладилось, не забылось, не выболело.
И зависли бессильно меж бездной и высью
запоздалых стихов безответные письма.

Идут года, бегут недели,
но ты теперь, как ни зови —
потусторонен, запределен,
недосягаем для любви.

И лишь во сне всё как по правде,
лишь там нельзя тебя убить.
Там можно всё ещё поправить,
и досказать, и долюбить.

Там светом радуги играет
то, что уже покрыто мглой,
горит и вечно не сгорает —
что стало пеплом и золой.

Как звучит поэтично: «летальный исход»!
«Почему не летаем, как птицы?»
А за всем этим — хрип, трупный запах и пот,
окровавленные тряпицы.

Кто придумал назвать так? Романтик? Эстет?
Чистоплюй, идиот или циник?
Верно, тот, кто не знал закатившихся век
или онкологических клиник.

Зову тебя «Ау!» — кричу. «Алё!»
Невыносима тяжесть опозданий,
повисших между небом и землёй
невыполненных ангельских заданий.

Пути Господни, происки планет,
всё говорило: не бывает чуда.
Огромное и каменное НЕТ
тысячекратно множилось повсюду.

Ты слышишь, слышишь? Я тебя люблю! —
шепчу на неизведанном наречьи,
косноязычно, словно во хмелю,
и Господу, и Дьяволу переча.

Луна звучит высоко нотой «си»,
но ничего под ней уже не светит.
О кто-нибудь, помилуй и спаси.
Как нет тебя! Как я одна на свете.

Очнись во мне хоть как-нибудь, хоть как-то,
подай намёк, тончайший, как батист.
Всесилье смерти, как упрямство факта,
перехитри, ведь ты же шахматист.

В волненье Волги, в полуночном стуке,
в листке слетевшем, как благая весть, —
очнись от сна, от смерти, от разлуки,
подай мне знак, что ты на свете есть.

На небе полночном горят письма.
Я в смутной тревоге гляжу из окна.
Пытаюсь прочесть это, как в полусне.
Я знаю, что это написано мне.

Пульсирует небо мне звёздной строкой.
В ответ неуверенный взмах мой рукой.
И слёзы глаза застилают, слепя.
Я знаю, я помню, я вижу тебя!

Снег

Медленный, тихий, небесно-жемчужный,
светлый мой Снеже, сеятель рая,
кружишь над жизнью моею недужной,
слабым свеченьем в ночи догорая.

Боль мою нянча, врачуя, бинтуя,
еле касаясь серебряных клавиш,
шепчешь мне в душу молитву святую,
прошлое в вечное переплавляешь.

Тем, кто ушли по незримой дороге
или бредут ещё к звёздному лугу —
всем одинаково стелишь под ноги
млечную вьюгу Полярного круга.

Мёртвые, перекликаясь с живыми,
нас окружают нездешней любовью.
Звёздами выткано каждое имя
в книге души, побелевшей от боли.

Все они умерли, умерли, умерли...
Молча плывут небеса.
В музыке улиц ли, в лиственном шуме ли —
слышу я их голоса.

Сны свои для, задержать умоляю я
свет беспощадный дневной.
Души родимые их оживляю я
жизни своею ценой.

Ночь моя отчая, ты моя вотчина,
там лишь слыву я своей.
Тени Аидовы досыта потчую
кровью живую своей.

Ночь

Профиль древней лепки.
Морщинка глубока.
Обнимает крепко
меня твоя рука.

Хорошо согреться
в домашней тишине.
Слушаю, как сердце
твоё стучит во мне.

Там теперь навеки
ночлег его, уют.
Сомкнутые веки.
Ангелы поют.

Призрачный и сраный
путь к себе самой...
Радость моя, рана.
Навеки мой.

Я помню все слова, что ты мне говорил.
Они занесены на тайные скрижали.
Когда-то озарив и щедро одарив,
лежат на дне души, с годами дорожая.

Сокровищами душ — засушенных цветов,
записочек твоих — не устаю владеть я.
Я помню все места на картах городов,
куда, сбежав от всех, мы прятались, как дети.

Моя душа с тобой в надежде и в беде,
завися от тебя, блажит иль занеможет.
А если нет тебя — то нет её нигде.
Ведь без тебя она существовать не может.

Чураясь пышных фраз, всего, что напоказ,
моя любовь проста, мудра и старомодна.
Так впору мне она, просторна и легка,
как в тапочке мне в ней, разношенной, свободно.

Но до сих пор пьянит твоей любви вино.
И ты моим теплом до доньшка просвечен.
Держусь за это дно, последнее звено,
связавшее меня с присутствием на свете.

Отлетают котурны возышенных фраз.
Остаётся лишь голая суть без прикрас.
И в душе проясняется, как негатив,
этой песенки полузабытый мотив.

Всё, что было во сне, нелюдимо, во мне,
то теперь наяву, воедино, вдвойне.

Наши тропы сплелись, замыкая концы.
Мы, как ноты, слились, — двойники, близнецы.

Я узнала теперь, как планета звучит, —
так, как сердце ночами о сердце стучит.
Я узнала, как выглядит абрис души, —
как лицо, что вошло надо мною в тиши.

Я люблю тебя, милый, — горячечным ртом...
Я давно позабыла, что будет потом.
Я — очаг твой, который согреет ладонь,
твой сосудик, в котором мерцает огонь.

Перед зеркалом красуюсь,
от тебя я слышу: "Рубенс!"

Огорчилась: неужель?
А мне мнилось: Рафаэль!

Вот истаю, словно воск, —
будет Брейгель или Босх!

На смерть Дендика

Где ты, мальчик мой собачий?
Лай залиvistый замолк.
Я уже почти не плачу,
сердце прячу под замок.

Как ты резво из передней
на прогулку побежал,
повстречав свой миг последний
у второго этажа.

Сердце слабенькое очень
подвело тебя в пути.
Приподнялся что есть мочи,
рухнул снова и — затих.

Кто же думал про плохое?
Но восьмого февраля
ночью тёмною, лихою
приняла тебя земля.

Снег теперь тебя заносит
и уносит в царство сна.
Милый пёсик, чёрный носик,
нет тебя теперь у нас.

Стынет кресло без владельца
и диванчик опустел.
Твоё маленькое тельце
где-то средь небесных тел.

По тебе скучает дворик.
Слёзы катятся из глаз.
Милый Дендик! Бедный Йорик!
Светик крохотный угас.

2001

Гулял сам по себе пёс.
Он был красивый и бездомный.
(из рассказа школьницы Олеси К.)

Маленькая девочка Олеся.
На руках котёнок или щенок.
Как она по-женски их жалеет —
тех, кто в этой жизни одинок.

В непогоду с возгласом "бедняжка!",
втайне от соседей и семьи
каждую окрестную дворняжку
наряжает в кофточки свои.

А когда огромная собака
дать щенку хотела смертный бой —
то, не испугавшись, не заплавав,
заслонила пёсика собой.

Помню, как примчалась на рассвете, —
что-то руки мне её суют:
"Может быть, мы скоро переедем.
Сохраните карточку мою".

Как она доверчиво прильнула,
выдав жестом горькое житьё.
Как знакомо сердце мне кольнула
одинокость детская её.

Вспомнились холодные вокзалы,
комнаты пустынный уют...
Как бы нас судьба не разбросала —
не забуду девочку мою.

Моим слушателям

Люди с хорошими лицами,
с искренними глазами,

вы мне такими близкими
стали, не зная сами.

Среди сплошной безликости
не устаю дивиться:
как их судьба ни выкосит —
есть они, эти лица!

Вихри планеты кружатся,
от крутизны шалея.
Думаю часто с ужасом:
как же вы уцелели,

в этом бездушье выжженном,
среди пигмеев, гномов, —
люди с душой возвышенной,
с тягою к неземному?

Вечно к вам буду рваться я,
в зал, что души бездонней,
радоваться овациям
дружественных ладоней.

И, повлажнев ресницами,
веровать до смешного:
люди с такими лицами
не совершат дурного.

Я вас в толпе отыскиваю,
от узнаванья млея,
я вас в себе оттискиваю,
взрачиваю, лелею.

Если б навеки слиться мне
с вами под небесами, —
люди с хорошими лицами,
с искренними глазами...

Весенней грозы отрезвляющий душ.
Очистится небо от хмури и мути.
Воздушные шарики родственных душ
из рук выпускаю — летите, забудьте!

Не плачь ни о чём, ничего не имей.
Пусть Дух наберёт высоту без боязни,
как детской рукой запускаемый змей,
свободный от уз нелюбви и приязни.

От тяги корней, якорей и оков
отныне и присно пребудь независим.
Лети, задевая клочки облаков,
похожих на клочья стихов или писем.

Звучит журавлиных хоралов помин.
Осенними листьями кружатся лица.
О что же вы сделали с сердцем моим,
что страшно оттуда сюда возвратиться?!

Как больно наткнуться на чей-нибудь взгляд,
скользнувший неузнанно, канувший мимо.
Воздушные шарики в небо летят...
О сколько их, сколько — донныне любимых!